Он сидел у раскрытого настежь окна и смотрел на улицу. Точнее, на ее противоположную сторону, где раскинулся нынче городской парк. Когда-то здесь была небольшая рощица из тополей да берез, то ли посаженных кем-то, то ли выросших из занесенных ветром семян. Степаныч еще помнил узкие песчаные тропинки меж деревьев да кустарников, кирпичную водонапорную башню посреди рощи… Теперь вот — Городской парк культуры и отдыха!

С высоты третьего этажа, несмотря на сгущающиеся сумерки, были отлично видны освещенные яркими фонарями аллеи, выложенные цветной плиткой, всевозможные аттракционы — крутящиеся, вертящиеся и вообще черт знает какие! Призывно светились окошки и террасы кафешек, баров, киосков — куда нынче без них! Отовсюду доносились людские голоса, смех, их норовила заглушить звучащая на все лады громкая музыка…

В окно нет-нет да залетал прохладный майский ветерок, вытесняя из комнаты скопившуюся за день духоту, теребя седой хохолок на стариковской голове, и тогда Горин маленько взбадривался, свежел лицом.

— Штой-то загулялась моя ребятня! — глядя в накрывавшую город темь, подумал

вслух дед. — Праздник праздником, а мне бы и на боковую пора. И так засиделся...

Он уже хотел было подняться с табуретки да идти спать — небось придут, не маленькие, чай, — как вдруг увидел, что парк ни с того, ни с сего погрузился в сплошную темноту. Перестала играть и музыка, только человеческие голоса щебетали еще, хотя заметно тише. Степаныч поначалу подумал, что это глаза его от усталости сплоховали: ну-ка, часа три, не меньше, тут, у окна, просидел! Да нет, фонари-то вон вдоль дороги горят — вижу! И тут его слух уловил какой-то негромкий щелчок там, в парке, потом что-то зашипело, будто змея какая, и тотчас подступившую прямо к окну ночь прорезала малюсенькая звездочка, летящая в небо.

— Вон оно што! Это хорошо, это правильно — Победу салютом праздновать! Все года так было, а нынче-то сам Бог велел!

Старик проводил взглядом «звездочку» до самой верхней точки, которую она осилила, пока та, будто столкнувшись с какой-то невидимой силой, не остановилась на мгновение, а потом с шумным треском не рассыпалась на десятки разноцветных фонариков. Они переливались мигающими огоньками, будто переговаривались меж собой на особом языке, и медленно опускались к земле. В парке снова заиграла музыка, теперь уже не та, сумасшедшая, а тихая такая, плавная, из тех, старых, почти забытых. Загомонили меж собой и люди, задравшие вверх головы и радующиеся фейерверку. А звездочный зонт меж тем начал потихоньку гаснуть, пока вовсе не растворился, так и не приземлившись...

На смену ему полетел уже другой заряд, но Степан Матвеич почему-то все еще глядел туда, в ту точку, где только что в черном небе висела первая ракета. Точно такая же, как когда-то та, чужая, холодная, на всю жизнь оставшаяся в памяти... Он всегда видит ее, когда смотрит праздничные салюты, сколько бы времени с тех пор ни прошло. Видит... и по-прежнему боится.

* * *

Ракета, пущенная с высотки из-за Днепра, где оборонялись отступающие немцы, точно так же повисла в смоляном небе. Вот только раскрылась она не красочными огоньками, а одним-единственным фонарем, осветившим все окрест так, что стало видно, будто днем.

— Сейчас начнется! — глядя на зависшую над ними «лампу», прокомментировал Андрюха, с которым Матвей успел за это время сдружиться.

— Ничего, главное — панику не разводить! — отозвался сидящий неподалеку на корточках старшина Еремеев.

— Так я ничего, я просто... — начал было оправдываться Андрей, но тут где-то справа от их окопа грохнуло так, что зазвенело в перепонках! В небе засветился еще один висячий прожектор и в это время разорвался второй снаряд, к счастью, не долетевший до окопа. Призывно взмахнув рукой, что-то прокричал старшина, но его крик утонул в сплошном грохоте вражеской канонады. Еремеев и находящиеся рядом с ним бойцы, пригнувшись, гуськом двинулись в сторону блиндажа, и Матвей уже хотел было последовать их примеру, но вспыхнувшая перед глазами яркая вспышка и огромной силы удар остановили его порыв. Последнее, что увидел солдат, были падающие на него рыжие комья взорванной земли...

* * *

Очередной салютный залп над парком вывел ветерана из нахлынувших воспоминаний и заставил снова посмотреть в расцвеченное огнями небо. Видно, пиротехники работали по нарастающей: в отличие от первого, этот, неведомо какой по счету заряд, был сильнее, цветастее, объемнее. С неба опускался переливающийся всеми цветами радуги купол, и казалось, он вот-вот накроет и парк, и веселящихся в нем людей, и ближайшие дома. Но его ждала та же судьба — мигающие звездочки, как и прежние их сородичи, мирно затухли в воздухе, и только остывающие уже огарки с шелестом падали на землю.

— Вот так и жизнь человеческая... Вышла из земли, пошла в рост, поднялась, насколько Богом отмерено, и вниз, сгорелая, опять в землю-матушку. Одна долго горит, не гаснет, а другая только взялась огоньком, да тут же и стухла.

Старик глубоко вздохнул, поднялся с табуретки, прихрамывая, подошел к шкафу. Взял с полки старенький альбом с фотографиями и снова примостился у окна. Протер платком налившиеся слезой глаза, перевернул обложку. Вот он, Андрюха — веселый, будто и не на войне вовсе, улыбается во все свое скуластое лицо... Разве знал, что таким вот двадцатилетним навек и останется... Только вроде бы жизнь свою парень начал отмерять, над землей подыматься, ан, вишь, как вышло! Санитары, обнаружившие приваленного землей Матвея, рассказывали потом, что и Андрей, и старшина Еремеев, и еще пятеро хлопцев угодили прямо под разорвавшийся снаряд, так на бегу всех и уложило. Ему, Горину, повезло, в живых остался. От контузии в госпитале оклемался быстро, а вот с ногой дело оказалось серьезнее. Изрешеченную осколками, иссиня-черную от ран, он поначалу ее вообще не чувствовал, будто и не было ее вовсе. Но потом такие нестерпимые боли начались, что хоть на стенку лезь!

Всю ночь скрипел от них зубами, орал диким голосом, пока медсестра не сделала укол. Боль маленько стихла, даже прикорнул чуток под утро, но потом снова запекло, поднялась температура, среди врачей началась паника. Помнится, явился тогда начальник госпиталя, зловредный такой, осмотрел ногу и заявляет:

— Завтра на ампутацию! Иначе гангрена, а значит, смерть!

Как будто обухом по голове саданул!

— Нет, — начал было сопротивляться Матвей, — не дамся, что хотите делайте, только не отрезайте!

Только тот и слушать не стал, развернулся и вышел из палаты...

Всю ночь не спал Горин — и от невыносимой боли, и от думок горестных. В двадцать лет калекой остаться! Всю жизнь потом на костылях, или, в лучшем случае, на протезе елозить! Нет, лучше уж смерть! И решил он тогда выброситься из окна. Пока все спали, поднялся с кровати, но только хотел встать, упал с диким криком на пол. Проснувшиеся соседи подняли, уложили на койку. Утром пришли забирать в операционную, но тут встала уже на дыбы вся палата — не дадим, и все тут! Подняли такой переполох, что санитары тут же удалились...

Степаныч перевернул еще одну альбомную страницу и улыбнулся:

— Вот он, спаситель мой! Видно, судьба его мне подарила!

Хирургом оказался высокий красивый горец средних лет, пришедший поглядеть на непокорного больного. Осмотрел внимательно ногу, прощупал ее всю, а потом, похлопав Матвея по плечу, с улыбкой сказал:

— Молодец, что такое сопротивление устроил! Не тот случай, чтобы ноги человека лишать! Достаточно тех, кого уже оставили без рук, без ног! Так что, будем лечить, и я уверен, что еще наперегонки будем с тобой бегать!

Матвей Степаныч с благодарностью потер пальцами пожелтевшую фотографию доктора, которую выпросил тогда, при выписке, на память, протер платком покрывшую лоб испарину. От этих воспоминаний даже сейчас опять страшно стало, хотя и прошло столько времени. И ведь вылечил хирург, сохранил ногу, пусть и с хромотой этой. И Полинка дождалась, как и обещала, не побрезговала инвалидом, пошла за Степана...

Старик даже приободрился после таких воспоминаний, как-то увереннее зашагал по комнате, и долго еще ходил, ходил, будто доказывая самому себе, что не зря выжил. И только почувствовав усталость, отнес на место альбом и начал собираться ко сну. Но тут отворилась входная дверь, и в прихожую вошли возбужденные праздничным весельем внук с женой и сыном их Игорьком, правнуком.

— Ты чего, дед, спать, что ли, собрался? — с порога спросил Олег. — А как же праздник? Отметить ведь положено!

— И правда, посидите с нами, Матвей Степаныч! — поддержала невестка. — Мы вот тут гостинчики принесли, я сейчас быстренько все организую.

Дед сопротивляться не стал. Надел белую рубаху, поверх нее накинул костюм с боевыми наградами — он всегда надевал его в День Победы — и зашагал к уже накрытому столу.

* * *

— Да, хороший праздник получился! — наполняя рюмки, начал разговор внук. — Давно такой радости людской не видел, чтоб вот так, все вместе, как раньше...

— Аж семьдесят ракет запустили! — с восхищением добавил Игорек.

— Ну, что, давайте за Победу, за тебя, фронтовика! — предложил Олег.

Звякнули стопки, выпили — старшие водку, правнук — сок, потянулись закусывать.

— Наверное, рады, дедушка, что дожили до такого юбилея? — улыбаясь, спросила невестка.

Старик неспешно покончил с кусочком вареной колбасы, вытер полотенцем губы, и только после этого, подняв глаза на Лизу, заговорил.

— Оно сразу-то и не найдусь, как тебе, дочк, сказать. Д-а-а... Радость-то, она из души идет, а душу, ее не обманешь, она все, что внутри человека деется, показывает. Глаза еще можно обмануть, а душу, нет, не обведешь... Вот сижу у окошка, от нечего делать, смотрю: машины по улице одна за другой, туда-сюда, туда-сюда. Все, почитай, ненашенские, дорогие... Люди, опять же, идут разодетые все, расфуфыренные! У этих вот, — Степаныч показал на правнука, — чего только нету! И телефончики карманные, не копеечные, и контьютеры эти, а теперь еще додумались и до ручных — сидит недавно такой-то вот на лавочке и играет! А в магазинах глянь: полки завалены, бери, чего хошь, и хоть сколько! А на город, на город глянь! В прошлом году сосед Славка, мы с его отцом работали вместе, позвал — поехали, говорит, дед Матвей, город нынешний тебе покажу! А то ведь, небось, тыщу лет дальше двора не выходил? Поехали,

взял интерес. Везет он меня по улицам, а я гляжу и глазам не верю: названия те же, а улицы другие совсем! Завалюхи стояли, в войну да после из досточек слепленные... А тут — дворцы, а не дома! Этажей не сосчитать! Красивые все, ладные! Потом на пустырь поехали, там раньше песок сплошной да хворост, ничего больше. Батюшки-свет! Все домами заставлено, да какими! Начал в одном этажи считать, и сбился... Во, в каких теперь домах народ живет — тепло, светло, простор! Опять же, не один век коротаю, вы вот, Бог дал, рядышком...

Дед выдержал паузу, отхлебнул из стакана сока, и спросил то ли у самого себя, то ли у сидящих за столом:

— Разве это не радость, дожить до такого? Своими глазами такую благодать видеть?

И тут же сам и ответил:

— Радость, да еще какая! А душа все равно не на месте, нету в ней радости этой! Глаза радуются, а душа не хочет...

— А чего же ей не хватает? — недоуменно спросил Олег, как и все внимательно слушавший деда.

— Ты, давай, плесни на пальчик, промочим горло... А заодно помянем, кого с нами нет. Кто не дошел до нынешнего праздника. Да-а-а... Царство им всем небесное и память вечная!

Степаныч взял стопку, поднялся, за ним встали остальные. Выпили, постояли с минуту молча...

— Хороший огурчик, с хрустинкой! Бабка еще крутила. Мастерица была на эти дела! Любила, штоб стол сытный был, сготовит чего — пальцы проглотишь! — смакуя во рту соленый огурец, вспомнил старик покойную супругу. — Уж она нынче бы расстаралась! Эт факт! Вишь, время-то как бежит! По осени двенадцать годков будет, как ушла наша Полина Никитишна... Земля ей пухом! А могла бы и еще пожить! Д-а-а...

И тут же, может, для того, чтобы уйти от горестной минуты воспоминаний, а может, показать, что держит еще в строгости память свою старческую, не дает ей засыпать без причин, вернулся к прежнему разговору.

— Чего душе, говоришь, не хватает? Дык этой же самой радости и не хватает! Только не этой вот, наружной, что глаза застит, а настоящей, от какой весь твой дух нутряной захватывает, душу петь заставляет, от счастья разрываться! А не от болячек да стыда! Понятно говорю? Иль, скажите, хлебнул дед винца и разводит теперь антимонию?

— Да какая же это антимония, это целая философия жизни! — отозвалась со своего места Лиза. — Такое теперь где услышишь?

— Ну, тогда слухайте... Я теперь часто об этом думать стал: кто из нас счастливее оказались — я, до этой вот поры доживший, или друг мой фронтовой Андрюха, старшина наш Еремеев, другие, им подобные, что жизни свои отдавали и знали, за што, во имя чего? С верой в правое дело умирали, Родину защищали, народ свой... Даже сосед мой, Антоныч, этот хоть и после войны, где-то уже перед перестройкой горбачевской помер, и тот от меня посчастливее будет! Потому как не дожили они до нынешнего позора, когда нас, освободителей Европы, теперь в оккупанты записали! В оккупанты! — старик ударил по столу жилистым кулаком и замолчал. Было видно, как напряглось его изрезанное морщинами лицо, каким тяжелым и одновременно жалким стал взгляд...

— Это надо же до такого додуматься! Сколько жизней там оставили, ихние спасая, кровью землю пропитали насквозь, а они теперь памятники нашим солдатам погибшим крушат! И-э-х-х!!!

Степаныч остановился, отдышался чуть и уже более спокойным голосом обратился почему-то к правнуку:

— Заняли мы как-то один польский городок. Небольшой такой, как наш. Фриц, убегая, растяжек минных столько понаставил, что только гляди! Много тогда нашего брата там полегло. Д-а-а... И вот идем мы как-то под вечер уже с сослуживцем своим в штаб. А во дворе ребятня в футбол играет, лет по семь-восемь. Чумазые все, на своем языке что-то лопочут. И тут один как даст по мячу, тот так и улетел в дверной проем дома, что рядом разбитый от бомбежки стоял. Пацан туда, за мячом... Сослуживец мой молча срывается с места и тому наперерез, машет руками. «Стой» — кричит, — «Стой!» Да только тот по русскому-то не понимает, бежит, улыбается. К двери первым прибежал, уже порог было перешагнул, но тут-то его товарищ мой и нагнал... Как уж там получилось — не знаю, только отшвырнул он назад мальчишку со всей силы, а сам то ли оступился, пошатнулся туда в дверь, то ли как... Короче, грохнуло так, что полстены разнесло! Видать, растяжка-то с самого края стояла... Футболисты вмиг затихли, пацаненок тот белый, как мел, стоит, плачет... Мы потом все собрали, что от друга нашего осталось, положили в гроб, то и похоронили... А теперь, вишь, и поляки эти кричат: «Оккупанты!» Да где бы вы сейчас были? Кому сапоги лизали-чистили?

Матвей Степаныч опять начал было входить в раж, но Олег, положив руку на дедово плечо, успокоил старого:

— Ладно, дед, время все по своим местам расставит! Успокойся.

— Время! А мне, пока оно расставлять будет, что делать прикажите? С честью своей поруганной, с совестью, с орденами вот этими да медалями? — Горин ткнул рукой в грудь. — С мыслями своими, что голову по ночам на части разламывают? А? Может, надо было раньше помереть, штоб не доживать до такого унижения? Штоб со спокойной душой, как они...

И, с минуту помолчав, повернулся к Лизе:

— А ты, дочк, про радость спрашиваешь... Да-а-а! Ну да ладно, вы уж на старого не серчайте! Кому я еще душу-то выплесну? И взаперти боль эту держать тяжело. Вот и...

— Да мы и не обижаемся, понимаем, — за всех ответил Олег и тут же предложил:

— А давайте выпьем за то, чтобы никогда больше не было этих проклятых войн! Чтобы на Земле мир был! Чтобы они вот, — показал он на сына, — дети их и правнуки наши о войнах только из учебников истории знали. Чтобы не гибли под пулями да снарядами мирные люди... Правда, дед?

Матвей Степаныч снова ответил не сразу. Он молча наблюдал, как внук наполняет рюмки, заметил, как наполнились невылитой слезой Лизины глаза.

— Выпить-то, оно, труд не особый... Кабы сбывалось все, за что выпиваем, а то... Ладно, может, и попадет что Богу в уши. — И, пригубив рюмку с вином, добавил: — Вы давайте, отдыхайте, поздно уже! А я еще чуток посижу, все равно не усну сразу...

Возражать никто не стал. Лиза начала убирать со стола, Олег с сыном пошли в свою комнату, и только Степаныч, снова усевшись у окошка, все глядел и глядел в подступившую майскую ночь, будто разглядывал в непроглядной тьме что-то свое, только ему доступное и видимое...

* * *

Проснулся старик от взорвавшегося за окном неба, а может, и не спал вовсе…

— Опять палят, салютуют! Пора бы уже и честь знать: ночь на дворе! — недовольно забурчав, подошел он к окну. На утонувшей в темноте улице было на удивление тихо, в небе яркими разноцветными фонариками мирно светили звезды…

— Что за чертовщина? Почудилось, что ли? — подумал Степаныч, но тут, откуда-то из-за спины, от входных дверей, послышался до боли знакомый, хотя и полузабытый уже от времени голос:

— Нет, батя, не почудилось. И не фейерверк это…

Горин резко обернулся, вгляделся подслеповатыми глазами в комнатную темноту и… Нет, не может быть! Сын, Григорий! Погибший в Чечне и двенадцать лет как похороненный со всеми воинскими почестями на городском кладбище! Своими руками бросал в его могилу землю…

Шинель, пилотка, на гимнастерке орден, две медали — будто сам он, молодой Матвей Горин, только что вернулся с фронта. Будто и не было этих семидесяти лет, что минули с той поры! Старик, уже в который раз протер глаза, пытаясь разобраться, сон это или явь, но солдат уже проходил в комнату, к столу, за которым всего какие-то часы назад праздновали Победу, поминали погибших. Вон даже рюмки вымытые стоят еще…

Григорий окинул взглядом стол, присел на стул.

— Садись, отец, чего стоять? И если можно, дай водички свежей, нашенской. Будто век целый не пил…

Дрожащими от волнения руками Степаныч налил из-под крана воду, подал сыну и сел напротив за стол. Григорий с жадностью опорожнил кружку, вытер ладонью губы и посмотрел на отца.

— Не ждал? А я вот взял да и возвратился, посмотреть ненароком, как тут жизнь без меня продолжается…

— Продолжается… — все еще не придя в себя, повторил за сыном Матвей Степаныч.

— Мать-то как?

— Одиннадцать годков уж, как на бугре. Как тебя… кхе, кхе, похоронили, так и слегла. А потом и вовсе попрощались до скорой встречи. Я-то, думал, тоже вслед за ней пойду, ан, вишь, задержался зачем-то…

Старик тяжело вздохнул, кинул взгляд на висевший на стене портрет жены и, стараясь увести разговор от тяжелой темы, сообщил:

— А Олежка твой с женой да сынишкой, стало быть, внучком твоим, Игорьком, у меня сейчас гостюют, на праздник приехали. Может, разбудить, пусть порадуются?

— Не надо, батя! Я ведь как вроде бы есть — и нет меня. Давай лучше, пока никто не мешает, с тобой как солдат с солдатом поговорим. За этим шел к тебе… Вот ты подумал, что это салют на улице сейчас прогремел, а это не салют, батя, это бомбы сыпятся на землю, на людей… Это война, батя, которую вы посчитали семь десятков лет законченной, победу салютами отмечаете! А где он, мир, за который вы воевали? Где спокойная жизнь страны, людей, за которую твои товарищи жизни молодые отдали? Нет ее! Война продолжается, так же гибнут люди по обе стороны залпов, так же текут слезы матерей по убитым сыновьям, после чего материнское сердце не выдерживает, и они, как наша, уходят вслед за погибшими детьми… Как и той Родины нет, за которую вы в атаку с крика-

ми «Ура!» поднимались. Раскромсали единую страну на части, понастроили границ и пошли друг на друга с оружием. Даже русский Иван с украинцем Миколой насмерть вон бьются, кровь братскую непонятно за что льют, а вы беде этой салютуете...

Горин хотел было прервать сына, успокоить, сказать свое слово, но Григорий предупреждающе поднял руку:

— Погоди, отец! Дай до конца высказаться... Да, нет ни Родины, ни мира обещанного, ничего нет! Победив фашистов, вы думали, что завоевали счастливое будущее своих детей, внуков и правнуков. А где оно, это счастье, спустя семь десятков лет? Миллионы роющихся в мусорных ящиках и ночующих в подвалах бомжей — детей ваших? Десятки тысяч бездомных, брошенных родителями, спившихся и наколотых отравой детей, малолетних девочек-проституток — внуков и правнуков ваших? Такое счастье вы завоевывали? За него боролись? Так чего же праздновать то, что не сумели выполнить? Ведь и то, что удалось добиться хорошего, давно потеряли. Чего соревноваться в салютах этих — у кого громче да дольше? Скажи, отец, ответь по правде, по-солдатски!

Матвей Степаныч увидел вдруг возникший за спиной Григория целый ряд таких же, как сын, юнцов — покалеченных, израненных, поседевших раньше времени, с лицами-фотографиями на надгробных плитах. Все они вслед за Григорием, уставившись своими пустыми глазницами в старика, вторят:

— Ответь, отец!

Горин смотрел на эти, чуть видимые в темноте, фигуры-тени и молчал. Вжавшись в спинку старенького стула, он пытался найти нужные слова, ту правду, которую от него ждали, и не находил. Знает ли он ее? Ведь только что, какие-то час-другой назад, он сам говорил об этом, возмущался всем сердцем. Но до конца ли прав он в этих своих возмущениях, не ошибается ли, не своевольничает, беря на себя роль справедливого судьи? А может, другие думают и оценивают все по-другому!

Кто-то положил руку на плечо Степаныча, и, обернувшись, старик увидел стоящих позади фронтовых своих друзей — Андрюху, старшину Еремеева, еще с полсотни погибших фронтовиков. Они стояли плечом к плечу, как стоят изображенные на памятнике защитники Брестской крепости, и требовательно смотрели в глаза однополчанина, словно осуждая его за затянувшееся молчание, эту непростительную растерянность. Неужто, мол, забыл, против какого зверья воевали, какую страшную чуму одолели? Страну свою, Европу всю, народы от нее спасли! А что было бы, если бы мы тогда проиграли, не выстояли? Да все нынешние беды и болячки вместе взятые — тьфу, пустяк, по сравнению с той, что могла бы случиться! Скажи, Матвей, чего молчишь?

Старику показалось, что его за руки растягивают в разные стороны две команды, каждая пытаясь перетащить на свою сторону, убедить в своей правоте. А он стоял меж ними и не знал, кому дать послабление, потому как у каждого из них была своя правда, своя истина, которые трудно оспорить. Наконец, откашлявшись и глядя в сыновние глаза, он заговорил.

— Отвечу, коли просишь... И как солдат, и как отец, и как сын страны своей, за которую когда-то воевал.

Голос Матвеича слегка дрожал от волнения, но он уже выпрямился на стуле, не выглядел таким растерянным и беспомощным, как раньше.

— И вот что я тебе, сын, скажу... Самое страшное преступление че-

ловека — судить прошлое, прожитое! Из которого, как и из нынешнего, не увидишь, что тебя впереди ждет и как все изменится. А потому делаешь то, что велят тебе Время и Жизнь. Повелели они встать на защиту страны — и мы встали! Повелели победить — победили, жизней своих не жалея! Повелели на ноги разрушенную Отчизну поставить — поставили! И нашему поколению не о чем жалеть, тем паче — стыдиться чего-то! Мы исполнили свой долг, с честью исполнили! Так за что же нам теперь казнить себя? А что касается праздников да салютов — так, слава Богу, что они еще есть! Потому как это Память, живая еще, не умершая! Ею мы клялись погибшим, ее передаем живущим, да и сами еще ею на этом свете держимся... Нынешний салют в парке смотрю, слушаю залпы эти — слезы на глаза наворачиваются, сердце сжимается от волнения, а жизнь в меня струйками-то тоненькими вливается, от последнего вздоха оттягивает... А ты говоришь — чему салютуете?

Григорий слушал отца молча, внимательно, не выражая лицом ни согласия, ни возражений. Будто закаменело оно у него. И только убедившись, что тот все сказал, снова вступил в разговор.

— Да не осуждаю я прошлое, не осуждаю! И ваше поколение не осуждаю — вам за ваш подвиг в ноги кланяться надо! Я о нынешнем говорю, которое ваше прошлое напрочь перечеркнуло, мечты ваши затушило. Неужели Время и Жизнь, как ты говоришь, велят людям это делать? Тогда зачем, во имя чего?

— Время, сынок, оно ведь не только само ежесекундно меняется, но и человека, и жизнь всю меняет. И каждый раз свои посылы дает. Человеку бы эти посылы-то обмозговывать, как следует, полезное отобрать, от плохого избавиться, да не получается почему-то. То ли некому, то ли некогда. Вот и получаем то, что не надо бы. Сколько их, ошибок-то, уже понаделали, а все не каемся, все продолжаем их умножать...

Степаныч потянулся к кружке, отпил воды и задумчиво поглядел на сына. Оставшийся навсегда в своей вечной теперь молодости, тот поразил его своими непростыми вопросами, рассуждениями, заставил по-другому взглянуть на уже привычную жизнь, о многом задуматься. Вовремя, выходит, вернулся из небытия, успел...

— Я недавно ТАМ с двумя извергами встретился, из тех, что в плен меня брали, пытали, ногти срывали плоскогубцами... — Григорий вытянул перед отцом руки с изуродованными пальцами, и от увиденного у Степаныча по телу пошла мелкая дрожь, глаза невольно повлажнели. Он взял сыновьи ладони в свои, прижал их к щеке, будто пытался согреть их своим старческим, еще не до конца остывшим теплом, излечить от страшных ран...

— Их потом, через полгода после моей казни, наши ребята постреляли в ущелье как бешеных собак. Так вот, знаешь, что они мне сказали при этой нашей встрече, спустя почти полтора десятка лет? Ну, говорят, командир, и кто же победил, своего добился, вы или мы? Вы, думаете, что навели в Чечне порядок, укротили непокорных горцев, заставили подчиниться вашим законам. Да ничего подобного! Это, дескать, мы, чеченцы, заставили вас принять наши условия, наши законы...

Отец! Что я им должен был ответить? Сказать, что это Время и Жизнь мне повелели оставить полковничью должность в милиции, надеть военную форму и идти под пули? Я ведь сам, уже в 45 лет, добровольно, как и вы когда-то, сделал свой выбор, осознанно шел на все, а теперь выясня-

ется, что это было ошибкой. Только вот чьей? Моей, или тех, кто затеял эту непонятную бойню? Ведь ее же кто-то из конкретных людей совершил! Только они до сих пор по земле ходят, а нас нет! Где же справедливость, отец? Отец! Ты слышишь меня? Слышишь меня?..

* * *

... — Ты слышишь меня?

Степаныч открыл глаза и увидел склонившегося над ним внука.

— Ты что, дед, так и просидел всю ночь у окна? Не простыл? Вон как свежестью-то тянет!

Олег заботливо накинул на дедовы плечи пиджак, спросил с улыбкой:

— Наверное, когда сидя спишь, особые сны видишь?

Горин обвел взглядом комнату, остановил взор на светлячке от проникающего в окно солнечного луча, что примостился в аккурат на стуле, где только что сидел сын.

Может, не привиделось? Может, и правда был, оставил на память лучик этот, чтобы согревал старика? А вслух сказал:

— Снятся сны, внучек, разные снятся... А вы что ж, таки сегодня и поедете? Может, побудете еще денек-другой? Гляди, утихнет чуть... Говорят, до ростовской таможни уже снаряды супостатские долетают. Опасно! Да еще с дитем!

— Да не волнуйтесь вы, Матвей Степаныч! — вошла в комнату Лиза. — Через пару часов выедем, к вечеру, глядишь, в Ростове будем. А там по обстановке. Тихо будет — дальше поедем, а нет — до зорьки подождем, когда и люди, и орудия спят...

— Да! — вздохнул Степаныч. — Дожили! В родной дом под обстрелом пробираться! Донецк! Помню, когда в последний раз приезжал к вам — весь в розах стоял, чистота, порядок кругом. Теперь развалины, как в сороковые. И за всем человек стоит. А ты — Время, Жизнь... Прав, видно, Григорий, прав...

— Ты о чем, дед? — услышав имя отца, встрепенулся Олег.

— Да так, лезет разное в голову...

... Время пролетело быстро. Внук с невесткой сходили в магазин, взяли в дорогу продуктов, гостинцы друзьям. Так что скоро уже и прощались.

— Ты, дед, тут не скучай! Главное — береги себя. Со Славкой, соседом, я договорился — говори ему, что нужно, он все организует. Да! Вот тебе мобильник, специально купили сегодня, чтобы звонить тебе. А то на городской пока выйдешь?..

— Зачем он мне? Я же с ним, как первобытный буду... — запротестовал Горин.

— А тебе не надо с ним ничего делать. Мы сами тебе будем звонить. Номер только у меня да Славки на всякий случай. Только подзаряжай вовремя, сейчас покажу как. И какую кнопку нажимать, когда зазвонит.

Степаныч выслушал инструктаж, покрутил в руках «игрушку», положил на тумбочку.

— Вы лучше сами там особо не задерживайтесь, — с просьбой и надеждой в глазах поглядел он на Олега и Лизу. — Квартира ваша, все оформлено, с работой наладится, Игорьку в школу — через дорогу. И без бомбежек энтих...

— Так мы и не думаем задерживаться. Как только Игорек школу закончит, мы за это время свои дела управим, может, квартиру продать

удастся… — Лиза запнулась на мгновение и, вздохнув, добавила: — Если цела! Подружка звонила, говорит, каждый день обстреливают.

— Мы же, дедуль, если квартиру удастся продать, думаем машину поменять — старушка уже! — с улыбкой сообщил Олег.

— Что ж, это дело нужное. Бог в помощь… Да! Тут я кое-что поднакопил, может, и немного, но тыщ триста наберется. Так что, добавите к своим, да купите подороже — щас чуть не каждый на «марках» этих раскатывает. Иди, покажу на всякий случай «пряталку» свою, — позвал Степаныч внука…

— На иномарках! — поправил внук. — Погоди, дед, так ты что, такие деньги дома держишь?

— А что же, по-твоему, пауков-банкиров ими кормить? Не-е-е… Еще не забыл, как тыщи наши в рубли превращали… А тут целей будут! И насчет похорон моих — голову не бейте. Похоронят за казенные — положено, как фронтовика! И памятник поставят бесплатно!

Степаныч откашлялся…

— Тут главное — не задержаться, успеть, пока не отменили все. А то скажут — кризис, мол…

— Ну что вы такое говорите! — подошла к нему Лиза, обняла за плечи. — Живите! Вот переедем, вместе будем…

— Как Бог даст!

На том и распрощались. Горин проводил взглядом удаляющуюся легковушку, пока позволял оконный проем, прошел к столу, сел. На душе было тяжеловато, волнительно — от наступившего в одну минуту одиночества, от тревоги за внука с семьей. Она хоть и непонятная война эта, свои меж собой дерутся, да все равно пули свистят и снаряды рвутся. Да и бандеровцы эти давно уже человеческое обличье потеряли, в зверей ярых превратились.

Матвей Степаныч посмотрел на стул, где привиделся ему ночью сын, и, словно продолжая прерванный разговор, прошептал в пустоту:

— Ты, сынок, уж прости меня, старого! Прости, что так и не смог ясный ответ дать… Ты вот давеча про справедливость спросил, мол, есть ли она, нет ли? Должна быть, как не быть… Должна! Как и правда. Одна беда — красивые-то они только на вид, а жиляют, как крапива. Да все тех, кто их ищет… Потому и охотников на поиски эти мало. А те, кто отважится, обожгутся раз-другой, наживут болячек, и в сторону… Вот так и живем в вечном поиске, тянемся руками к ясному небу, а достать не можем…

…Горин подогрел чайник, попил разбавленного вишневым вареньем кипятка, лег на диван. В думках о прожитом дне, в волнении об уехавшем внуке с семьей, незаметно задремал. Разбудил его какой-то незнакомый доселе звонок, непохожий ни на дверной, ни на телефонный. Что это может быть? И тут его взгляд упал на лежащую на тумбочке «игрушку», что оставил внук. Она ползала, как живая, издавая звон. Степаныч поднялся с дивана, глянул на ходики — те показывали десять часов вечера.

— Эка придавил-то, весь вечер проспал! — недовольно буркнул он самому себе и подошел к мобильнику. Нашел нужную кнопку, поднес к уху.

— Алле! Кто говорит?

На том конце связи что-то щелкало, шипело, трещало, после чего послышался чей-то глухой мужской голос:

— Слышь, дед! Привет тебе от твоего внука!

— Сам-то он где? — с тревогой спросил Горин.

— Да не волнуйся, у нас он. И красавица его, и сын. Все в целости-сохранности…

— У кого это у вас?

— У тех, от кого зависит, поедут они дальше или в нашем подвале сидеть останутся.

У Степаныча сжалось сердце, нервно задергалось веко. Вот она, беда, тревожные мысли о которой не давали все эти часы покоя. Видно, нарвались-таки на проклятых бандитов! Что делать, чем помочь?

И будто подслушав этот вопрос, голос в трубке предложил-приказал:

— Двести штук, и мы их отпускаем на все четыре стороны!

Старик даже думать не стал: пропади они пропадом, эти чертовы деньги! Главное — вызволить из беды близких людей!

— Согласен я… — он хотел спросить, куда и кому надо отдать деньги, как тот же голос опередил его:

— Наш человек уже на пути в ваш город. Часа через четыре он позвонит тебе в дверь тройным звонком, после чего ты подойдешь к окну и бросишь вниз пакет с деньгами. После этого сразу отходи от окна! Все понял? И смотри не вздумай звонить в полицию — тогда уж точно в одиночестве смерть встречать будешь!

Связь прервалась. Матвей Степаныч держал дрожащей рукой телефон перед собой и глядел на него, будто пытаясь разглядеть того изувера, что только что принес в дом страшную беду. Но экранчик, посветив еще пару секунд, погас, погасив заодно и стариковские надежды на какую-либо ясность. Горин прошел к кладовке, где лежало годами разное барахло, отыскал в одном из узлов жестяную коробочку, вынес на свет. Надев очки, отсчитал двести тысяч. Пересчитал оставшиеся купюры — семьдесят пять. И слава Богу, хоть что-то останется Олегу на новую машину! А об этих — повертел в руках отсчитанный выкуп — нечего жалеть: жизни людские дороже! Остаток положил в ту же коробку, спрятал на прежнее место. Требуемые бандитами деньги завернул в тряпку, перевязал капроновым шнурком, чтобы случаем не рассыпались, когда из окна лететь будут. Нашел пакет, положил в него сверток и стал ждать обозначенного часа. Чтобы не дай Бог не прослушать звонок в дверь, принес в прихожую табуретку, сел. Казалось, что стрелки на ходиках отяжелели, затормозили свой ход — так медленно потянулось время. Старик боялся нечаянно задремать, поэтому через каждые пятнадцать минут вставал и проходил в комнату, всякий раз выглядывая в окно. Вдруг мелькнет посыльный!

Он уже начал подумывать, что звонок этот чья-то шутка, розыгрыш, и если так, то в заложники никто не попадал, никакого гонца не будет.

И тут, словно пистолетные выстрелы, раздались три коротких, резких звонка в дверь. Степаныч суетливо бросился к открытому уже окну, глянул в ночную темь и бросил приготовленный пакет с деньгами. Ему хотелось посмотреть, что будет дальше, но помня о строгом телефонном предупреждении, замешкавшись лишь на мгновение, отошел от окна. Только и этого мига хватило, чтобы заметить вынырнувшую из кустов чью-то темную фигуру, бросившуюся к пакету. Что-то отдаленно знакомое в ней показалось Горину, но разглядеть что, не успел…

— Неужели?.. А может, просто показалось? Темно ведь, да и глаза уже не те… Да нет, не может быть. Не бывает так! Ладно, Бог с ним! Те-

перь бы только Олежку с семьей отпустили! Помоги, Господи! — старик перекрестился на висевшую в углу икону.

От пережитого дрожали руки, ноги, какими-то рывками билось сердце... Горин прилег на диван, закрыл глаза...

Как странно все-таки устроена жизнь! Всего лишь прошедшей ночью он любовался праздничным салютом, радовался тому, что дожил до такого юбилея Победы, общался с родными ему людьми. Всего несколько часов назад жил счастливой надеждой на скорый переезд внука в эту квартиру, прощание с надоевшим уже одиночеством. И вот в одночасье все переменилось, развернулось в другую сторону, потушило радующие глаз разноцветные гирлянды. Почему так, кто в этом виноват? Жизнь? Обстоятельства? Люди? Эх, Григорий, не найдем мы, видно, с тобой ответа на эти вопросы. Не найдем...

Размышления снова прервало жужжание мобильника. Степаныч держал теперь его под рукой, ожидая сообщение об освобождении внука. Нетерпеливо нажал кнопку, поднес телефон к уху.

— Алло, дед, как ты там? — в трубке слышался голос Олега.

— Олежка, внучек! — радостно закричал Горин, вставая с дивана. — Освободили? Ну, слава Богу! Все живы, здоровы? Ничего эти ироды с вами не сделали? — старик нервно заходил по комнате.

— Какие ироды, дед? Откуда освободили? Ты о чем?

— Так эти, что двести тыщ за выкуп потребовали.

— Кто потребовал, дед? Когда? — внук на секунду запнулся и, будто что-то вспомнив, еще более тревожным голосом спросил:

— Звонили на мобильник?

— Ну да!

— Ты никому номер не давал?

— Так я его и не знаю... — растерялся Степаныч.

— А кому деньги отдал?

— Как велели — в окно пакет кинул...

— Кажется, понятно... Алло! Дед! Мы возвращаемся к тебе! Ты только держись там! Слышишь? Приедем, все поправим! Только держись!

— Слышу я, слышу...

Матвею Степанычу показалось, что на него только что выплеснули ведро помоев и теперь стоят в сторонке, хохочут над униженным человеком. Он уже понял, что его жестоко обманули, оскорбили его честь, человеческое достоинство, насмеялись над его старостью, боевыми заслугами... Его — ветерана-фронтовика, которого поблагодарил за подвиг открыткой сам Президент, в честь которого только вчера гремел этот салют...

...Горин почувствовал, что сердце будто сжал кто-то стальными щипцами, сдавил так, что перехватило дыхание. Ноги сделались чужими, непослушными. Старик еле дошел до дивана, повалился на постель и потянулся к аппарату домашнего телефона.

— Алле, скорая? Приезжайте... Адрес? Записывайте...

...Майская ночь подходила к концу, на востоке уже чуть заметно пробивалась алая полоска зари. По ночному городу мчалась, завывая сиреной, неотложка. Мчалась, чтобы успеть... А где-то за сотни верст отсюда, выжимая из машины последние силы, в этот маленький городок спешили потерявшие кров люди. Чтобы тоже успеть. И начать новую жизнь.

ЦЫГАН

Только от жизни, от жизни собачьей,
собака бывает кусачей...

Из детской песни

Он брел по знакомой, всегда заполненной людьми, а теперь непривычно пустой аллее и разочарованно думал о том, что, наверное, опоздал. И теперь опять самые лакомые утренние куски достанутся одной Люське. А может, еще успею? Сменив неторопливый шаг на бег, через минуту-другую он был уже около столовой, откуда, как всегда, доносились захватывающие дух дразнящие запахи. Увидев пустое крыльцо, успокоился — не опоздал! Наоборот, слишком рано нынче засуетился. Ну да ладно, подождем, мы не гордые! Найдем чем заняться.

Облизнувшись, он уже было пустился к спальному корпусу, — может, там чем разживиться удастся, — как услышал чей-то голос:

— Привет, Цыган! Пойдем со мной...

Окликнувший его мужчина направлялся к реке, — видно, решил прогуляться перед завтраком. Дружеское обращение и приятный голос говорили о том, что человек этот добрый, не из тех, кто ни с того ни с сего бадиками замахивается. С таким чего не пойти!

Только вот одно интересно — откуда они все мое имя знают? — трусь рядом с незнакомцем, думал Цыган. — Вроде чужие все, меняются раз за разом, а как только увидят — Цыган да Цыган...

Кто и когда дал ему это прозвище, он и сам не знает. Сколько себя помнит, столько на него и откликается. Да и как его еще называть, если как смоль черный уродился?

— Апорт! — услышал он вдруг голос своего спутника.

На мгновение опешив от неожиданности, Цыган тут же со всех ног бросился вслед летящей впереди палке.

«Думаешь, не понимаю!»

Принеся в зубах «трофей» и положив его у ног «хозяина», пес преданно уставился в его глаза. Теперь, мол, твой ход! Я правила знаю.

Мужчина улыбнулся, достал из кармана конфету, развернул ее и только после этого протянул собаке.

— Молодец! Знаешь команды, хотя и дворняжка.

Цыган проглотил сладость и, схватив палку в зубы, помчался вперед. Пока сходили к реке, незнакомец трижды угощал Цыгана, похваливая пса за редкую сообразительность. А, прощаясь у столовой, приказал: — Жди давай, косточка за мной!

Управившись с аппетитной куриной косточкой, которую и вправду вынес ему новый знакомый, Цыган под завистливые взгляды своих четвероногих друзей заковылял к люку теплотрассы. Осень была хотя и не столь холодной, но погреть бока на теплой железке приятно. Тем более — не сегодня-завтра снег упадет, морозы грянут. Тогда особо не согреешься.

Есть, конечно, у них свои, собачьи места для обогрева, но их еще тоже захватить надо! И то, если кто из обслуги не попрет всех прочь...

Цыган разлегся на крышке люка и погрузился в сладкую дрему. Собачьи сны крепкими не бывают, однако и они не лишены сновидений. Вот и в «цыгановой» голове поплыли всякие разноцветные картинки.

Поначалу привиделась мать, породистая черная сука, кормившая свой семидушный приплод там же, где ощенилась — под балконом первого этажа одного из корпусов. Вроде бы облизывает она Цыгана своего и говорит: «Ты людей и люби и бойся, сынок! Потому как сразу-то не распознаешь, у кого доброта за душой, а у кого камень».

Сказала так и тут же пропала. Как тогда, когда они еще щенками безмозглыми были. Куда делась?

Потом, вместо матери дед тот, инвалид с клюкой, причудился. Замахивается на Цыгана костылем своим и орет во все горло:

— Развели собачатник! Пройти спокойно нельзя. Куда руководство смотрит? Это же не санаторий, а черт-те что!

От истошного этого крика пес проснулся, куда и сон девался. Неужто опять старого черт принес? Да нет, никого не видно. Только дети на игровой площадке шумят.

Цыган ведь тогда и не думал кидаться на деда — ни в его правилах кусать людей. Но когда тот огрел его ни за что, ни про что по хребту бадиком своим, псиная душа не выдержала! Рванул обидчика за штанину, аж треск пошел!.. С тех пор, как увидит кого с костылем, так сдержать себя не может — облаивает до хрипоты, злится.

А инвалид тот, видать, главврачу все-таки пожаловался. Не стало санаторским четвероногим обитателям покоя. Кормить их у столовой отдыхающим строго-настрого запретили. Отовсюду гонят, будто чужих. А они ведь попривыкли к жизни тутошней и без нее себя уже не мыслят. Это хорошо, что есть еще добрые люди, как дядька нынешний! А то бы давно подохли все с голоду. Только им и этого мало! Теперь вот отлавливать начали и собак, и кошек. Ходят каких-то два мужика, один с подсаком сетчатым, другой с петлей на палке. Чуть кто зазевался — и прощайте, братцы! Вон уже ни Рваного, ни Шарика хромоногого не видать. Даже Мяучка с рыжим Чубайсом своим исчезли. Ясное дело — без «охотников» этих тут не обошлось...

Цыган открыл глаза, огляделся вокруг на всякий случай. Вроде никого, тихо. Да и не пойдут они сейчас, пока народу много. Не хотят свои черные дела при всех творить. Вот ведь как устроены они, эти люди! Одни — охотники-живодеры, а другие — спасители-защитники! Правду мать приснившаяся говорила — не понять их, пока душа не раскроется...

Ну да ладно, пора и вставать. Надо до корпуса добежать, откуда утром добряк этот выходил. Посижу, посторожу, может, перед обедом, опять к речке сходим. Глядишь, еще что-нибудь вкусненькое перепадет!

Цыган поднялся, прогнулся-потянулся до ломоты костей и побежал по знакомой тропинке.

До корпуса он не добежал, потому как увидел знакомого дядьку раньше. Тот стоял на центральной аллее в кругу своих друзей и о чем-то с ними разговаривал. Цыган нацелился было подойти, потереться о ногу по-свойски, но передумал. Вдруг разозлится мужик, не один ведь стоит, с людьми.

Пес сел в стороне, ожидая, когда освободится его новый друг, и тут услышал истошный собачий лай, донесшийся из-за угла клуба.

«Люська!» — угадал Цыган голос своей давней подружки и, сорвавшись с места, бросился в ту сторону. Увиденная картинка заставила его так резко остановиться, что он чуть не перекувыркнулся через голову. В сетке подсака, который держал один из «охотников», билась охрипшая от лая Люська. Шерсть на ней стояла дыбом, глаза вылезали из орбит, а

запутавшиеся в леске ноги сучили изо всех сил в надежде выбраться из западни. В отчаянном Люськином крике слышался то ли безумный страх, то ли мольба о помощи, а может, все это вместе.

Цыган только мгновение смотрел на происходящее. Через секунду он бросился вперед и, достигнув «охотника», прыгнул ему на грудь. Тот от неожиданности опешил, выронил из рук подсак с визжащей Люськой и заорал благим матом своему напарнику:

— Лови его, чертяку, чего стоишь!

Видя, что подружку ему уже не спасти, а самому можно тоже попасться, Цыган крутнулся и рванул изо всех сил назад. Он метнулся было к кустарнику, решив бежать к реке, но тут же передумал: на безлюдье «охотникам» будет легче с ним справиться. Ведь у них же и оружие может быть. Нет, к людям надо, к людям! Только там может быть спасенье!

Цыган выскочил на аллею и, обрадованный, увидел всю ту же кучку людей. Подбежав к ним, он жалобно заскулил, норовя спрятаться за их ногами.

— Ты чего? Обидел кто? — нагнулся к нему обретенный поутру приятель. Но тут же, видимо, увидев преследователей Цыгана, скомандовал:

— Сиди тихо!

Хотя и без этой команды пес уже замер как мышь, сжался в комок. Закрытый людскими ногами, он только чуть водил головой, выглядывая в небольшие просветы наружу.

То ли и впрямь не заметили «охотники» спрятанную собаку, то ли людей побоялись, но прошли мимо. Хотя Цыган и увидел в расщелину, как тот, с петлей, глядел во все глаза вниз, будто догадываясь, где может быть беглец.

Когда мужики удалились, добряк дядька глянул на затаившуюся дворняжку и улыбнулся:

— Ну, кажется, спасли душу твою! Теперь, давай, беги куда-нибудь, прячься, пока не вернулись...

Обрадованный, но все еще дрожащий от испуга Цыган, благодарно лизнул ботинок своего спасителя и метнулся в ближайшие кусты.

Остаток дня, всю ночь и наступивший за нею день Цыган просидел в трубе, оставленной зачем-то строителями неподалеку от лодочной станции, в посадке. Тут они с Люськой не раз находили себе защиту от летнего зноя или от сильного дождя. Но это летом. А сейчас в этом металлическом ущелье, наполненном холодом да сквозняками, долго не усидишь. Только куда деваться-то? На территории со вчерашнего дня ни лая собачьего не слыхать, ни мяуканья кошачьего. Всех, видать, выловили. Теперь не успокоятся, пока его, Цыгана, не поймают. Тем более, бросался на них...

Вечером, когда стемнело, он потихоньку пробрался к столовой. Более чем суточное голодание настолько ослабило его, что уже не было никакого страха, ничего, кроме единственного желания что-нибудь съесть. Сидя в кустах, он долго высматривал своего приятеля в надежде, что тот чем-либо да покормит прибившегося пса. Но прошла уже и первая смена, и вторая, а доброго дядьки так и не было.

«Уехал, наверное!» — жалобно вздохнул Цыган и почувствовал, как по щекам покатились быстрые соленые капельки. Ему еще ни разу в жизни не было так больно и обидно, а потому он даже не понял, что плачет.

Он уже было собрался убежать назад, в свое логово, как увидел выходящую из столовой официантку Любку. Ту самую, что нет-нет, да и подкармливала чем-нибудь их бродячую компанию. Оглядевшись вокруг, женщина положила за крыльцо газетку с какой-то снедью и тихо сказала: — Найдет, если не убег. — И, печально вздохнув, вернулась в помещение.

«Добрая душа! Видно, знает, что не поймали меня, вот и вынесла еды», — обрадовался пес.

С большим куском батона и остатками не доеденных кем-то котлет он управился в два счета — так проголодался! Телу стало теплее, в животе приятно заурчало, и чуточку повеселевший Цыган заковылял в темноту. Однако до схрона своего он не дошел. Увидев манящий теплом знакомый люк, он не смог отказать себе в удовольствии согреть подмерзшие бока.

«Кому я ночью нужен? Вздремну чуток, а там видно будет».

С тем и улегся на теплую железяку...

Проснулся Цыган от какого-то непонятного рокочущего шума. Кругом что-то урчало, звякало, пол под ним ходил ходуном, норовя сбросить с себя... А, главное, была такая темь, будто кто глаза выколол. Он попытался встать на ноги, но тут же снова повалился на пол. Лапы оказались связаны.

«Где же это я? Как сюда попал? — забились тревожные мысли. — Неужто все-таки схватили, ироды?»

Неожиданно шум затих, пол перестал трястись, темноту прорезала светлая щель, в которой нарисовалось лицо «охотника».

— Ну, что, проснулся? Молодец! Он, укол-то, не сильный, быстро отходит. А без него тебя, беглеца, не взяли бы...

Мужик залез в крытый кузов, взял пса на руки и спрыгнул с ним на землю. От яркого, сверкающего серебром снега Цыган чуть не ослеп — все вокруг белело, искрилось.

«За ночь навалило. В санатории, наверное, такая красота сейчас! — с тоской подумал пес. — Только зачем мне теперь все это...»

Он уже догадался, зачем вывезли его в это безлюдное белое поле. Значит, судьба! Когда-нибудь все равно всему конец приходит...

Цыган смиренно лежал на снегу, ожидая, пока развяжут его ноги. Продолжал лежать и после того, когда веревчатые путы были сняты — зачем бежать, если пуля все равно догонит?

— Ну, давай, прощай, цыганская твоя душа! Авось, не пропадешь, прибьешься где-нибудь...

Снова загудел мотор и машина с охотником, скрываясь в снежных вихрях, помчалась по дороге.

Цыган поднялся, стряхнул с себя прилипший к шерсти снег. Кругом, насколько хватало взгляда, лежала белоснежная чистая гладь. Только где-то вдали, чуть ли не у самого горизонта, чернели похожие на деревенские домишки квадратики...